

Л. И. Сизинцева

## ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ ПРОВИНЦИИ

Провинция как административно-территориальная единица существовала в России всего 55 лет — с 1719 по 1775 год. Можно предположить, что в почти полувековой промежуток сложились условия, позволившие этому нейтральному понятию приобрести оттенок пренебрежительности, уничижения. И всё же, вероятно, не случайно было выбрано название завоеванных имперским Римом территорий (*pro-vincio*), — вся страна представлялась объектом агрессии, оправданием которой виделось распространение цивилизации.

Первая четверть XVIII столетия — время, когда новая петровская столица резко заявила о своей непохожести на остальные территориальные единицы страны. Там все было не так, как в остальных российских землях: было больше похоже на Амстердам или Париж. Москва, по сравнению с Петербургом, воспринималась провинцией. Правда, мало кто задумывался о том, что и сам новорожденный город оказался провинцией, подражавшей европейским столицам, перенимавшей парижские моды, английские манеры, голландские ремесла и польское красноречие, ибо вторичность — один из признаков провинциальности в ином, оценочном смысле.

В новой системе ценностей «ново» значило «хорошо», в прежней, напротив, сохранялась ориентация на традицию — чем больше похоже на исходный образ, оставшийся за гранью обозримого прошлого, — тем лучше. Новая система не вытесняла старую, они причудливо перемешались и распределились в пространстве: столица стала законодательницей мод, провинция — хранительницей «живой старины»; и степень провинциальности определялась скоростью и точностью усвоения столичных образцов, которая определялась расстоянием, качеством дорог и желанием (или нежеланием) их усваивать.

Столицы гордились переменчивостью во всем: будь то парижские моды или немецкая философия, а провинциалки робко интересовались (как в пушкинском «Графе Нулине»): «Как тальи носят?» — «Очень низко», — несколько свысока отвечали им столичные жители, знакомые с линией кроя не по журналу «Московский телеграф».

Сила провинции была в неспешности и основательности, там, по преимуществу, сохранялась «вековая тишина России: типы и люди прошлых исторических формаций», по выражению П. Н. Милюкова [4, с. 91].

Однако это распределение сложилось и устоялось не сразу. Первоначально как образ жизни, так и ритм ее были едиными — до учреждения Петербурга. Новая столица следует принципу: все лучшее — ей, самые «добрые» каменщики, плотники, резчики, художники, печники уходили туда и пополняли ряды столичных жителей. Сама по себе эта практика су-

ществовала и прежде: на государеву работу призывались они и в Москву. Новая столица была более ревнива: строится Петербург — замирает каменное строительство во всех прочих городах: запрещено. И еще одно было ново: они, мастеровые, не возвращаются, как прежде, назад, обогащенные новым опытом, оседают в центре, волею, а чаще — неволею.

Обескровленная, лишенная мастеров, средств, материалов провинция строится все медленнее, да и не столь красиво — по понятиям нового, петровского времени. Эти перемены происходят быстро, в пределах одной человеческой жизни. Еще в середине предыдущего столетия за полвека до петровских реформ такие города, как Ярославль, Кострома, Нижний сами были законодателями строительной моды, самодостаточными культурными центрами. С удручением местного самоуправления, волевым изъятием сил и средств они хиреют, и гордость жителей за свой богатый и красивый город уступает место тому, что мы сегодня бы назвали комплексом неполноценности. Именно оно и закрепилось в понятии «провинциальный», которое включает не только оценку извне, из столицы, но и самооценку.

Однако еще более четко, нежели перемещение мастеровых, локализовано в этом полувековом промежутке другое явление, которое иногда называли «крепостным правом для дворян». Петровское законодательство обязывало всех дворян нести государственную службу, «нетчики», т. е. неявившиеся, оставались без защиты закона, их имущество конфисковывалось. Будучи поначалу бессрочной, она сократилась до 25 лет при Анне Иоанновне, а ликвидирована была Указом о вольности дворянской 1762 года.

В данном случае важно не индивидуальное недовольство, а то, как это сказывалось на жизни провинции. Служба, бравшая лучшее, дееспособное время жизни дворянина, тоже имела свою топографию. Еще юношей, а то и ребенком она отзывала его от родовой усадьбы, лишала права выбирать место жительства, одних закидывала на окраины Российской империи, других—в столицу, откуда они либо посылали «тысячи курьеров», либо сами мчались с поручениями во все города и веси.

Таким образом, именно столица была местом, где человек мог официально реализовать себя. Во всех разъездах он оставался официальным человеком, т. е. «человеком столицы». В этом смысле характерно, что опала выражалась, прежде всего, в отлучении от Петербурга, который сам по себе был «привилегией и благодеянием».

Местоположение чиновника вносило свои коррективы в петровскую табель о рангах: мелкий письмоводитель в столице мог влиять на ход дел больше, нежели провинциал более высокого чина, — он мог положить дело в долгий ящик, создать неблагоприятное мнение...

Эта географическая иерархия совпадала с иерархией административно-территориального деления: губернское правление соотносилось с уездным так же, как и сенат с ним самим. На этом административно-географическом парадоксе строился и «феномен Хлестакова», невозможный, если бы отсутствовал «мистический» пиетет перед столицей.

Указ о вольности дворянской, екатерининские реформы местного самоуправления несколько размыли жесткие границы «пространства социальной реализации», равно как и границы «биографического времени», отданного столице: часть активного его отрезка перепала теперь и родным местам.

Вновь созданные губернии востребовали деятелей, связанных с ними имущественно или «генеалогически» (а потому имеющих право на участие в дворянских выборных органах). Провинция как административно-территориальная единица ушла в прошлое, понятие вобрало в себя унижение, бесправие человека перед лицом централизованной машины.

Неоднократно отмечалось, что именно Указ о вольности дворянской стал причиной и началом расцвета дворянских усадеб. Вторая половина XVIII—первая половина XIX века — золотое столетие классических «дворянских гнезд». Однако почти никогда усадьба не была единственным местом обитания ее хозяев. В зависимости от достатка они делили свое время между столицей, губернским городом и усадьбой, либо между двумя последними. Даже самые неимущие, «бездушные» дворяне по необходимости покидали усадьбу для участия в выборах губернского дворянского предводителя. Кроме того, нужно было решать хозяйственные вопросы, влиять на ход судебных разбирательств, во множестве заводившихся и тянувшихся годами.

Зима как время года определялась ритмом общественной жизни (выборы, балы, визиты для дворянина — человека не служащего), лето — «время усадьбы» — складывалось как время фамильное. Память связывала с тем или иным членом семьи возникновение построек на территории усадьбы, строительство храма с неизменным поминанием во время каждой службы «зиждителя храма сего». Пространство «осваивалось» семьей на протяжении десятилетий, которые складывались в века. Высаживались и забрасывались сады и парки, погибали в разбитых оранжереях диковинные растения, но дети, играя среди них, жили в «фамильном времени».

Независимо от достатка и вкуса владельца, усадебный дом хранил семейный архив, необходимый для подтверждения прав на дворянство или владения. Часто документальный ряд подтверждался изобразительным, портретные галереи разного художественного достоинства были почти всюду, со временем их сменили фотографии на стенах или в альбомах. Предания, передававшиеся родственниками и слугами, часто опирались на внешний предметный ряд. Могло не быть библиотеки, но семейные реликвии были всегда. То были не обязательно ценные в денежном выражении вещи, но с ними всегда были связаны семейные истории или память о предках: будь то награда, бокал с вензелем императрицы, трофейная пушка петровских баталий, охотничье ружье или николаевская шинель деда. Все вместе это становилось той самой «рамкой памяти», о которой писал М. Хальбвакс [10].

Эти реликвии были документами социальной значимости человеческой жизни, они были следами того «времени социальной реализации», ставшего «фамильным временем». Историческое линейное время семьи, рода вплеталось в историю страны, понимаемую как историю государей, которая в свою очередь тоже рассматривалась как семейное время, вплетенное в библейскую историю человечества, и в результате история человечества воспринималась по образцу истории большой семьи. Часто в усадебных архивах хранились рукописи, подобные этой: «Генеалогия или родословие знатных властелинов, князей и царей, начинающееся от Адама даже и до всего настоящего времени с прописанием лет...» (1756) или «Родословные таблицы библейской и русской истории, составленные в 1787 г. (в кругах)» [2].

Общение между семьями осуществлялось в двух основных формах: многодневные поездки в гости (короткие визиты при значительном расстоянии между усадьбами были бессмысленны), и, прежде всего для мужчин, «отъезжим полем» — осенью, на время псовой охоты. Последняя заслуживает особого внимания.

«Главная дворянская потребность или, как ныне выражаются, главный идеал состоял тогда в псовой охоте», — вспоминал Н. П. Макаров о первой четверти XIX в., но столь же справедливо это высказывание и для последней четверти, если не половины предыдущего столетия. «Эти единственно важные в то время дворянские занятия происходили с необыкновенною торжественностью», — пишет тот же мемуарист [3, с. 8].

Охота, собиравшая дворян разного достатка из нескольких уездов, становилась местом сословного представительства, местом борьбы самолюбий (вспомним завязку конфликта в «Дубровском»). Отсутствие интереса к охоте рассматривалось как подтверждение и следствие недворянского происхождения [6, с. 151].

Охота часто способствовала знакомству с бытом деревни, так как в усадьбе хозяина поля размещались лишь наиболее почетные гости, остальные же селились в крестьянских домах. Однако крестьянское земледельческое время и время господской охоты, исходя из природных циклов, не только не совпадали, но и резко противоречили друг другу: «Какая причиняется пагуба осенним посевам и вешним всходам! Как вытаптываются луга!» [6, с. 60].

Часто оставшееся от охоты время в усадьбе подчинялось ожиданию следующей охоты. В распорядок дня включалось кормление собак, приобретающее характер ритуала [6, с. 149; 3, с. 12]. Именно в силу ежедневной повторяемости хозяйственных забот, малой насыщенности событиями социальной важности, время усадьбы, сохраняя «обратную перспективу» семейной памяти, утрачивало «прямую перспективу», линейное измерение с вектором, направленным в будущее. Оно неизменно проходило свои ежедневные и ежегодные круги, и единственным способом разомкнуть его становилось поступление на службу, отъезд в город.

Та же малая насыщенность событиями вырабатывала особенную, обостренную чувствительность провинциала к различным состояниям природы. Это подтверждается многими

воспоминаниями. В. В. Розанов, размышляя о костромском детстве, говорит об особом переживании дождливой погоды: «Мгла небесная сама по себе входила такую мглой в душу, что хотелось плакать, нюнить, раздражаться...» [8, с.530]. А. Ф. Писемский пишет из костромского имения Н. А. Некрасову: «В моей деревенской жизни я либо напишу очень много, либо с ума сойду. Вообразите, до сих пор никаких признаков весны, еще даже вороны не вылиняли». А не пройдет и месяца, и он же напишет А. Н. Майкову: «Я теперь блаженствую, упиваясь весной, которая у нас стоит чудная...» [5, с. 66].

Однако трудности в переживании циклического, повторяемого времени провинции возникали только у тех, чья система ценностей была ориентирована по законам Нового времени, на новизну — как позитивное начало, на бесконечное стремление вперед, на реализацию себя в этом новом времени как личности неповторимой, новой, еще не бывшей доселе. Таких было немного, они остро переживали свою немногочисленность, а то и прямое одиночество в среде других, иначе ориентированных людей.

Костромской священник-краевед М. Я. Диев относился к числу последних, что не мешало ему заниматься историей и этнографией. В его позиции не было высокомерного отношения к «непросвещенной» среде, не принявшей нового мироощущения: «Без сомнения, нынешние обычаи есть благословенное наследство предков наших, отпечаток их чувствований и мыслей, перед потомством отчет долговременного мышления и опыта, глагол ума твердого и глубокого, связь прошедших времен с настоящим. Правда, быстрый ход просвещения несколько изменил облик обычаев, но сущность их, кажется, доселе неприкосновенна, особенно в простом народе», — писал он И. М. Снегирёву 20 сентября 1830 года [9].

Время христианского календаря для россиянина XVIII, XIX и даже начала XX века имело гораздо большее значение, нежели принято было думать в советское время. Душа самых разных людей погружалась в неторопливое христианское время, с его ориентацией на «вечные веки». И все же именно в провинции эти переживания были более отчетливыми: «Из жителей столицы не всякий поймет благоговейные чувства, с которыми религиозный провинциал встречал торжественный день Светлого Воскресенья: душа первого занята больше заботами жизни; второй предаётся духовной радости с открытою душою», — объяснял это явление А. А. Потехин [7, с.254].

Приуроченность христианских праздников к определенному времени года, связанные с ними бытовые обычаи и ритуалы были особенно значимы для провинциала с его погруженностью в бытовые и природные циклы. Скучность впечатлений придавала остроту переживанию праздника: «Самое внешнее торжество принимает в провинции как будто особенный блеск. С каким восторгом жители, привыкшие к тишине, прислушиваются в Светлый День к громкому звону колоколов, с каким увлечением смотрят на богатую иллюминацию, которая покрывает среди ночи Божий Храм! Постороннему зрителю показалось бы, что не только физиономия

зрителей, но и самые здания, весь город и самый воздух принимают какой-то праздничный вид» [ 7, с. 254].

Для людей, погруженных в христианское время, календарное обозначение месяцев и чисел не столь важно, как для чиновника: «К концу поста я уже читал, а на святой мог бегло прочитать Псалтырь» [1], — совсем другие координаты.

Степень погруженности зависела от индивидуального выбора, местом абсолютной рас творенности в нем был монастырь, скит. Интересно разрешалась эта задача — согласование мирского и сакрального — у старообрядцев секты бегунов. «Жизнь молодых сектантов ничем не отличалась от жизни остальных крестьян. Они женились, имели детей и, посещая старообрядческую молельню, ходили в то же время и в церковь. Под старость же они переставали ходить в церковь и начинали есть отдельно от семьи в особых мисках своими ложками. Многие оставляли свои семейства и скрывались неизвестно куда», уходили в ветлужские леса «молиться Богу и спасти свою душу» [1, с. 448].

Так обозначался абсолютно противоположный полюс — «антистолица», которая, начиная с середины XVIII в., удалялась все дальше на север, на восток, в Сибирь — лишь бы по дальше от Петербурга. Удаленность не только не угнетала, она была труднодостижимой мечтой. Был ли Керженец провинцией? — вопрос риторический: он, как и Выг, был другой столицей, столицей иного мира, иного мироощущения, в другой системе временных, координат. Но то же время, ориентированное на вечность, организовывало и жизнь Соловков или Валаама...

Любопытно рассмотреть пример перехода из одной системы в другую. Автор цитированных выше мемуаров — крепостной человек Ф. Д. Бобков — выходец из старообрядческого села Крапивнова Юрьевоцкого уезда Костромской губернии. Грамотный, как и многие старообрядцы, вместо привычных лубочных изданий он получает в подарок академический календарь 1824 года: «На пустых страницах календаря кем-то сделаны были разные отметки и записаны разные события. Я тотчас же сшил тетрадку и завел дневник и стал делать в нем каждый день отметки» [1, с. 458]. Став дворовым своего барина, мальчик, а затем уже взрослый человек, он получил доступ к книгам и журналам. «Самое большое впечатление на меня произвели сочинения Карамзина. Он повлиял на мое воображение и на мое сердце. Мне казалось, что я иначе стал думать и чувствовать» [1, с. 468].

Изменение самосознания заставило остро переживать несоответствие невольничьей жизни дворовых новой, линейной временной системе, предполагающей продумывание перспективы: «Разве кто-либо из дворовых мог жить так, как хотел. Живут, как велят. Отрывают внезапно от земли и делают дворовыми, обучая столярному, башмачному и музыкальному искусству, не спрашивая, чему он желает обучаться. Из повара делают кучера, из лакея — писаря или пастуха. Каждый, не любя свои занятия, жил изо дня в день, не заботясь о будущем. Да

и думать о будущем нельзя, потому что во всякую минуту можно попасть в солдаты или быть сосланным в Сибирь» [1, с. 449–450].

Возможен был и обратный переход из одной временной системы в другую: мирские люди, уходя в монастырь, или переходя от неверия к вере, тоже проходили этот путь, подобно вологодскому дворянину Д. А. Брянчанинову, ставшему святителем Игнатием.

Таким образом, именно исследование пространственно-временных характеристик позволяет предположить, что оценочное, уничижительно-пренебрежительное значение понятия «провинция» возникает в период сложных перемен в сознании жителей создающейся Российской империи в середине XVIII столетия, когда меняется система ценностей и новизна становится предпочтительней традиции. Превенная система не исчезает, она сосуществует с новой иногда даже в сознании одного человека. При этом возникает определенная (иногда довольно условная) пространственная привязка: столица становится центром, отсюда — «новизна»; скорость усвоения этой новизны соответствует степени «провинциальности», которая растет по мере удаления от столиц.

На фоне сложных культурных процессов возникает противопоставление «города» «миру», т. е. вся страна превращается в необъятную окраину, противопоставленную столицам. Немалую роль в этом играет политическое и административное утверждение центральных структур абсолютистского государства, которое искусственно сдерживало развитие местного самоуправления, сужало пространство социальной самореализации человека, подчиняя его центру.

Острота противостояния столицы и провинции несколько снижается после проведения реформ второй половины XVIII века, следствием которых стала децентрализация российской культуры, создание таких своеобразных культурно-хозяйственных комплексов, как русские усадьбы.

Однако в системах, сохранявших ориентацию на традицию, существовало осознанное противопоставление себя столице как отрицательному началу (особенно это характерно для центров старообрядчества). В них не только снималось отрицательное толкование понятия «провинция», но и самого понятия не существовало.

### Список литературы и источников

1. Бобков Ф. Д. Из записок бывшего крепостного человека // Исторический вестник. — СПб., 1907.
2. Коллекция рукописей Государственного архива Костромской области: Обзор подгот. В. Н. Бочковым. — Кострома: Б.и., 1964. — 109 с.
3. Макаров Н. П. Мои семидесятилетние воспоминания. — М., 1881. Ч. 1.

4. Милюков П. Н. Воспоминания (1859-1917) Т. 1: [1859—1907: сост. и авт. вступ. ст. М. Г. Вандалковская: Коммент. и имен. аннот. указ. А. Н. Шаханов]. — [Б. м.]: Современник, 1990. — 445 с.
5. Писемский А. Ф. Письма / Подготовка текста и комментарии М. К. Клемана и А. П. Могилянского. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. — 748 с.
6. Помещичья Россия по запискам современников / Сост. Н. Н. Руссов. — М., 1911.
7. Потехин Л. А. Забавы и удовольствия в городке // Потехин А. А. Сочинения. — СПб., 1873. Т. 1.
8. Розанов В. В. Сумерки просвещения / Сост. В. Н. Щербаков. — М.: Педагогика, 1990. — 624 с.
9. Титов А. А. Биографический очерк Протоирея Михаила Диева с приложением его писем к Ивану Михайловичу Снегиреву (1830 – 1857) // Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. — М., 1887. Кн. 1. Отд.1. — С. 1–116.
10. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. — М.: Новое издательство, 2007. — 348 с.